



П. Р. ПАЛАЖЧЕНКО

Профессия и время. Записки переводчика-дипломата

<Фрагменты>

Горбачев. Начало

Сейчас Горбачеву 89 лет, и все последние тридцать четыре года я остаюсь с ним. Честно говоря, глядя на него сегодня, я с трудом представляю себе его тогдашнего — 54-летнего, крепкого, «реактивного». Время и удары судьбы сделали свое дело. Себя тогдашнего я помню лучше, и хорошо помню, как в мае 1985 года мой начальник, заведующий отделом переводов МИД Александр Развин сообщил мне по телефону, что я буду переводить интервью генсека корреспонденту индийского информационного агентства. Сказал он это почти рутинно, без торжественности и дрожи в голосе, и я это оценил и продолжал разговор без удивления и пафоса. Мы сидели с соседом на кухне моей квартиры на улице Кедрова, он поинтересовался, о чем был разговор. Когда я сказал ему, он тоже реагировал вполне спокойно, без всяких «ух ты!». Это может показаться даже несколько странным, потому что в те годы (да, думаю, и потом) все связанное с первым лицом страны было окружено почти мистическим ореолом. Но, может быть, оба мы немного лукавили. Переводить на высшем уровне — ответственность особая. Для меня это было впервые. Готовился визит в СССР молодого индийского премьера Раджива Ганди¹, и я сразу предположил, что от того, как пройдет мой «дебют», зависит, буду ли «работать на визите». Я был бы неискренен, если бы сказал, что был к этому безразличен. Но особого волнения не было. Я был уверен, что справлюсь. Первое, что бросилось в глаза, когда на следующий день я вошел в кабинет Горбачева вместе со слегка обалдевшим индийским журналистом, — насколько отличался Горбачев от своих предшественников. Все они — Брежнев последние годы жизни, Андропов, Черненко — были тяжелобольными людьми. Горбачев, помимо того, что был здоров и бодр, вел себя

очень естественно, доброжелательно, без напыщенности и напускной серьезности. После рукопожатия индийский корреспондент почему-то задал для начала такой вопрос: — Mr. General Secretary, is this your office or your study? Я на секунду удивился — мне такой вопрос никогда не пришел бы в голову. И чуть не забуксовал: по-русски и то, и другое — кабинет. В переводе получилось так: это ваш официальный офис или рабочий кабинет? Может быть, немного неуклюже.

— И то и другое, — не переспрашивая, ответил Горбачев.

Интервью, как это было тогда принято, состояло из письменной и устной, реальной части. Письменные ответы на заранее переданные вопросы у корреспондента, кажется, были, и он мог задать несколько дополнительных вопросов. В вопросах и ответах не было ничего неожиданного, продолжалось устное интервью, наверное, минут пятьдесят, перевод у меня шел легко. Среди прочего корреспондент спросил, верно ли, что Горбачев обязан своей партийной карьерой поддержке Андропова.

— Да, — ответил Горбачев, — Юрия Владимировича я знал и многому у него научился. Как, впрочем, и у других руководителей — Леонида Ильича Брежнева, Михаила Андреевича Суслова².

(Позже я обратил внимание на то, что Горбачев не пытается играть на сложившемся «в народе» отношении к своим предшественникам, будь то положительном или отрицательном. Много лет спустя он иногда рассказывал мне о них разные вещи, но никогда не делал этого в глумливом тоне.) После интервью помощник генсека Андрей Михайлович Александров-Агентов пожал мне руку и сказал:

— Спасибо за перевод. Я думаю, мы с вами будем встречаться.

Сам Александров работал с Горбачевым до февраля 1986 года. Человек он был незаурядный, но, как и Громыко, был символом прежней внешней политики. Тем не менее с заменой Горбачев не спешил и в конце концов остановил выбор на Анатолии Черняеве. С этим решением он, что называется, попал в точку, и сам об этом не раз говорил, хотя люди они очень разные. А Александров некоторое время работал в МИДе послом по особым поручениям. В 1987 году, когда я работал в управлении США и Канады, я встретил его в одном из мидовских кабинетов, он был в хорошем настроении, хотя, понятное дело, смена статуса не может не сказываться на человеке. Намек Александрова я понял. Но хотя в МИДе поговаривали, что многолетний переводчик советских лидеров Виктор Суходрев вскоре поедет послом в одну из европейских стран, я не думал, что стану его преемником. Были люди старше меня по рангу и по стажу. А через две-три недели со-

стоялся визит Раджива Ганди. Это был первый визит иностранного лидера в СССР при новом руководстве. В аэропорту его встречали премьер-министр Тихонов и Громыко, после чего в Кремле на свежем воздухе предполагалась официальная церемония прибытия. Но пока кортеж ехал в Москву, разразилась гроза, и церемонию пришлось заменить поспешным фотографированием (коллективная фотография на другой день была опубликована в газетах, и так я впервые оказался на первой странице «Правды»).

Непрошедшее

Горбачев провел гостей на так называемую «собственную половину», гостевые апартаменты, которые иногда, довольно редко, предоставляли главам государств как резиденцию во время официальных визитов. Вообще Ганди и его супруге было оказано особое внимание. Но первый день переговоров, с участием делегаций, был совершенно рутинный: разговор шел по «домашним заготовкам», были подписаны заранее подготовленные соглашения, вечером — официальный обед. Переводчик индийской делегации зачитывал тезисы, заранее переведенные на русский язык, а когда начинался обмен спонтанными репликами (их было не так уж много), выразительно смотрел на меня, и я переводил в обе стороны. На следующий день беседу один на один переводил я, по просьбе Ганди не присутствовали даже помощники — в общем, настоящий тет-а-тет. На эту беседу я чуть не опоздал — впервые поднявшись «на высоту» (третий этаж бывшего здания Сената в Кремле, где находился кабинет генсека), я умудрился пойти не в ту сторону и шел по длинному коридору, пока не понял, что иду не туда. Стараясь не бежать — надо же сохранять достоинство, — я ринулся в противоположную сторону и через несколько минут был у двери кабинета, где у меня даже не проверили документы. И почти сразу после этого в «предбаннике» появился Ганди в сопровождении одного человека, который там и остался его ждать. Вообще у Раджива были основания мало кому доверять. Михаил Горбачев и Раджив Ганди нашли общий язык как-то сразу, прежде всего по-человечески. Беседа была живой и очень доверительной. Потом я переводил их тет-а-теты не раз и видел, что, хотя в отношениях между двумя странами не все было так безоблачно, как могло показаться на первый взгляд, они старались, что называется, войти в положение друг друга. Между ними была взаимная симпатия, как мне кажется, еще и потому, что оба были руководителями больших и очень сложных, даже трудных стран. У Ганди, возможно, было трагическое предощущение — он оказался во главе страны,

потеряв сначала брата, предполагаемого наследника «династии» Ганди, затем, в 1984 году, мать, а через несколько лет сам разделил судьбу Индиры Ганди, став жертвой политического убийства. Ганди был всегда спокоен, выдержан, очень хорошо, точно говорил по-английски. В политике он был реалистом, но для него существовала и мораль. Горбачев это чувствовал, он, я полагаю, уже тогда думал об общечеловеческих ценностях, о которых потом не раз говорил. Внедрить в политику мораль — задача до сих пор не решенная, но мне кажется, что прежнее поколение политиков, по крайней мере, понимало или догадывалось, что такая задача есть. Во всяком случае, люди этого поколения были менее циничными, чем некоторые их преемники, а это уже немало. Деликатным вопросом в советско-индийских обсуждениях — и это я почувствовал уже в той первой беседе — был Афганистан. Индийцы опасались, что уход СССР оттуда усилит Пакистан и Китай. Но Ганди понимал, что решение о выводе войск — политическое, а потом понял, что оно окончательное. Мы держали его в курсе наших планов и переговоров с США, он делился довольно конкретной информацией. А взаимная симпатия Горбачева и Ганди с годами росла. Горбачев делился с Радживом своими мыслями, планами, иногда не совсем сформировавшимися, даже своими сомнениями. Они не раз встречались в трудные моменты для одного или другого — или для обоих. И мне иногда казалось, что их общение придает им силы. Они пережили потрясения и предательство. В мае 1991 года Ганди был убит, а в декабре Горбачеву пришлось уйти. Первая их беседа один на один длилась почти три часа. Ганди иногда что-то записывал в своем блокноте. А я потом несколько часов диктовал машинистке в здании ЦК на Старой площади подробную запись беседы. В свою холостяцкую квартиру я вернулся ближе к полуночи. Должен признаться — «с чувством глубокого удовлетворения». Я справился. В своих силах я не сомневался, но на этом уровне, особенно вначале, нужен некоторый кураж. Синхронистам без него не обойтись, но все-таки одно дело переводить в кабине, пусть даже в ООН, а другое — «на высоте».

Перемены в МИДе

Сообщение о назначении Эдуарда Шеварднадзе министром иностранных дел произвело в МИДе шоковое впечатление. Этого никто не ожидал. В министерстве был, наряду с некоторой усталостью от Андрея Андреевича Громыко, своего рода культ его личности, по большей части вполне искренний. Часто говорили о том, как уважают его западные коллеги. Это было действительно

так. Но и они подустали от весомых фраз нашего министра, произносимых с большой убежденностью, но не дававших никакого просвета в мрачной картине тогдашней мировой политики. Подустали и мидовцы. Дипломаты помоложе позволяли себе иронию, для которой иногда были основания. Однажды, выступая на совещании мидовского «актива», министр бросил фразу, цитируя которую остряки более или менее удачно пытались имитировать его характерную манеру говорить: — Что делают американцы? Приведу арифметический пример. Они хотят, чтобы мы сокращали... (пауза) больше, а они... (долгая пауза, взгляд в упор) меньше! В общем, смена руководства была закономерной, но никто не ожидал, что министром станет провинциальный партийный руководитель из Грузии, о котором никто почти ничего не знал. Понимая необходимость появления нового человека, мидовцы ожидали назначения из своих рядов, министра-эксперта, а не политика. Я слышал скептические отзывы, но уже тогда считал, что традиция, когда министром иностранных дел становится не карьерный дипломат, а человек с политическим опытом — верная. Есть, конечно, примеры очень успешных министров иностранных дел — карьерных дипломатов, но еще больше примеров, когда такими становятся крупные политики. Без этого трудно обеспечить реальный вес министерства в принятии политических решений. У меня было ощущение, что Горбачев сделал интуитивный выбор и что, вполне возможно, этот интуитивный выбор окажется правильным. Тогда я не знал, что их связывали довольно тесные личные отношения (что редко бывало, кстати, среди советских политиков крупного масштаба — это не поощрялось, и они этого просто боялись) и что для Горбачева важен был фактор личного доверия. Не личной преданности, а именно доверия. Первое время почему-то было много разговоров о том, что новый министр начнет сейчас борьбу с семейственностью. Она, конечно, присутствовала, но была далеко не главной из всех наших проблем. Вроде бы на каких-то совещаниях Шеварднадзе призывал с ней бороться, но вскоре понял, что получится только очередная кампанейщина, и борьбу спустили на тормозах. В коридорах и кабинетах жадно ловили любые новости с седьмого этажа, где размещался кабинет министра. О назревших переменах во внешней политике говорили мало. Больше — о возможных кадровых решениях. Рассказывали, что за первые две-три недели министр переговорил отдельно со всеми своими замами и руководителями отделов, в основном слушал, и остался не очень доволен.

Для меня приход Шеварднадзе обернулся важной переменной в практике проведения переговоров на высоком уровне <...>

Беседа один на один стала началом не только профессиональных, но и личных отношений Шульца и Шеварднадзе. Она была короткой. Как потом оба рассказывали мне, суть беседы состояла в том, что они дали друг другу обещание: сделать все, чтобы помочь двум лидерам — Рейгану и Горбачеву — вывести отношения между СССР и США из опасного тупика. Начиналась подготовка к первой после шестилетнего перерыва встрече лидеров СССР и США. Иллюзий не было: думаю, оба понимали, что путь будет трудный. А я тогда не знал, что вместе с Шеварднадзе пройду свой путь — многочасовые переговоры, тысячи километров в самолете Ил-62, надежды, тревоги, разочарования, драматический момент его отставки, которая не была для меня полной неожиданностью... Сделал он немало, и сделанное им надо ценить. Но на его похоронах не было ни одного официального представителя России <...>.

Первый саммит

<...> В газетах много писали о подготовке первого за шесть лет советско-американского саммита в Женеве. Необходимость в нем, как говорится, назрела. Как не очень дипломатично говорил потом Рейган, он давно хотел встретиться с советским лидером, но они один за другим умирали («I was ready to meet but they kept dying on me»). Сегодня это может показаться странным, но в США было немало влиятельных людей, как внутри администрации, так и вне ее, которые были против проведения саммита. Об их аргументах можно составить себе представление из статьи, основанной на высказываниях Збигнева Бжезинского³, упрекающего Рональда Рейгана в том, что он слишком уж рвется встретиться с Горбачевым (который «полностью соответствует формуле КГБ») и чуть ли не унижается перед советским генсеком. В ретроспективе такие аргументы и намеки на «мягкотелость Рейгана» выглядят, я бы сказал, несколько комично. Внутри администрации противником встречи был министр обороны Уайнбергер, но Рейган «мягко, но твердо» отклонил его непримиримую позицию: «Это не наш путь» («We won't go that way»). Много лет спустя бывший посол США в СССР Джек Мэтлок⁴, который координировал подготовку к саммиту и настраивал президента США на встречу с Горбачевым, подарил мне копию «надиктовки» Рейгана, в которой американский президент зафиксировал свое тогдашнее представление о Горбачеве, оценки предыдущих саммитов и ожидания от предстоящего. Это своего рода «мысли вслух». Конечно, многое в этих заметках несет на себе отпечаток холодной войны, многое связано с внутриаполитическими сообра-

жениями президента, но есть там и очень интересные и довольно тонкие мысли. Рейган, в отличие от других членов американской делегации, не отвергает идею совместного советско-американского заявления: «Откровенная констатация — в чем мы согласны друг с другом и в чем не согласны — это стоит обсудить. Но пусть не будет разговоров, кто победил, а кто проиграл. Даже если мы будем думать, что выиграли, разговор об этом нам не выгоден, учитывая свойственный им комплекс неполноценности»... Я, насколько позволял доступ к информации, следил за всем этим с большим интересом, но не ожидал, что окажусь в Женеве. Мое непосредственное начальство дало понять, что на женевский саммит я «не планируюсь» и останусь до конца сессии в Нью-Йорке. Значит, так тому и быть, решил я. Но по каким-то причинам более высокое начальство решило по-своему, и, кажется, 12 ноября в представительство СССР при ООН в Нью-Йорке пришла телеграмма с распоряжением купить билет (как выяснилось потом, бизнес-класса) в Женеву и отправить меня туда как можно скорее. Правда, мой отлет несколько задержался по довольно странной причине: консульская группа представительства почему-то решила, что меня пустят в Женеву по дипломатическому паспорту без визы, а когда наконец выяснили, что виза нужна, пришлось оформлять ее в спешном порядке, а это дело довольно нервное. Но на самолет я успел. Это был мой первый саммит. Недавно Джек Мэтлок дал интересное интервью, где довольно подробно рассказал о том, как шла к саммиту американская сторона. С обеих сторон были желающие устроить перетягивание каната по поводу сроков и места проведения встречи. По-разному понимали стороны и ее возможные результаты. Американцы долго — фактически вплоть до самой встречи — противились принятию какого-либо совместного документа, считая работу над ним потерей времени: дескать, главное — встретиться, познакомиться и дать импульс переговорам. Приходилось по ходу подготовки решать и множество организационных и протокольных вопросов, которые иногда приобретали самодовлеющее значение. Во всем виделось соперничество. Мэтлок вспоминает, как уже во время саммита американская пиар-команда позаботилась о том, чтобы Рейган (в холодный и ветреный день) вышел в костюме и без головного убора встречать Горбачева, вышедшего из автомобиля в пальто и шляпе. Американская пресса писала по этому поводу, что Рейган «выглядел динамичнее». И у нас некоторые обратили на это внимание. Мне кажется, что акцентирование подобных вещей в СМИ и в разговорах пикейных жилетов идет от непонимания сути саммитов. Правильно понятая задача любой встречи на высшем уровне —

определить направление большой политики, а не соревноваться в том, какое впечатление произведет тот или иной руководитель. И надо сказать, что на каждом следующем саммите можно было констатировать, что на первый план все больше выходит содержание, а не форма. Горбачев любит вспоминать, что после первой встречи один на один с Рейганом (она была довольно короткой, и ее переводил — в режиме последовательного перевода — Николай Успенский) он в беседе с членами делегации назвал американского президента «настоящим динозавром». Думаю, это произошло потому, что Рейган неожиданно пустился в рассуждения о вредности марксизма и идей «мировой революции». Это действительно оказалось несколько неожиданно, поскольку идеологию принято было оставлять за скобками дипломатии и переговоров на высшем уровне. Но у Рейгана это входило в «обязательную программу» первого саммита: много лет спустя его сын Майкл рассказывал, что «отец должен был выговориться», он всю жизнь мечтал «все выложить» советскому лидеру. Горбачев ответил, что президент ошибается, если думает, что он не спит ночами, размышляя, где бы еще устроить революцию. И вообще Горбачев старался на этом саммите спускать идеологический момент на тормозах, в чем я убедился, оказавшись рядом с ним и членами делегации во время одного из их разговоров. Когда ветеран идеологических боев Леонид Замятин⁵ стал педалировать эту тему и ругать Рейгана, Горбачев прервал его: «Другого президента у нас нет, его выбрали американцы».

Встреча в составе делегаций, которую я переводил, прошла в нормальной атмосфере, и в высказываниях Горбачева были некоторые нюансы, на которые американцы не могли не обратить внимания. Например, когда речь зашла об Афганистане, Горбачев сказал, что «у нас нет планов там обустроиваться». Что особенно запомнилось? Ну, например, момент, когда во время небольшого перерыва в переговорах в здании советского представительства вдруг погас свет. Просто вырубился — полный «блэкаут». Какая-то, как потом выяснилось, авария в женеvской системе электроснабжения. Прошло, может быть, полминуты, прежде чем включился резервный генератор — и можно только представить себе, что происходило в эти секунды в головах участников саммита. Что происходило в моей — я, честно говоря, уже не помню. Но больше всего запомнился обед в советском представительстве. Участвовали, с супругами, Горбачев, Рейган, Шварцнадзе и Шульц. Я не так часто переводил на «протокольных мероприятиях» и всегда считал перевод на них довольно каверзным делом. Сидишь на каком-то приставном стульчике, вокруг

снуют официанты, которые могут и опрокинуть что-нибудь на тебя (такое случалось), не все слышно, да и тематика и лексика могут оказаться самыми неожиданными. Главное здесь — атмосфера, «химия», как говорят американцы. О переговорных вопросах на этом обеде речи не было. Темы возникали разные <...>.

В общем, первый неформальный контакт состоялся, и это в конце концов оказалось важнее, чем возникавшие в последующие годы шероховатости, в частности, в отношениях первых леди, о которых любила посудачить пресса. Тем временем делегации работали над совместным заявлением, которое все-таки решили согласовать и принять, вопреки первоначальному возражению американской стороны. Работа продолжалась чуть ли не до утра, и дипломатам, а также моим коллегам-переводчикам пришлось изрядно потрудиться. По некоторым вопросам Горбачеву приходилось советоваться с Москвой, что, кстати, происходило и на последующих саммитах, на которых я переводил. Об этом важно напомнить потому, что сегодня его нередко обвиняют в принятии волюнтаристских решений вопреки мнению других членов руководства. Эти обвинения совершенно голословны, не подкреплены какими-либо документальными доказательствами. Вообще у меня всегда было впечатление, что и Горбачев, и американские президенты полностью осознавали, что они работают в определенных политических рамках и должны взвешивать различные позиции внутри своих стран. Совместное заявление, по-моему, получилось содержательным. Главное в нем — тезис о том, что «ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителя» и что стороны не будут стремиться к достижению военного превосходства друг над другом. Кстати, далеко не все в СССР и США были с этим согласны. Идеи достижения решающего военно-технического превосходства над потенциальным противником витали не только в военных кругах. Но последнее слово всегда остается за политическим руководством. Тезис о недопустимости ядерной войны стал основой не только для активной работы на переговорах по сокращению ядерных вооружений, но и одной из основ личных отношений Рейгана и Горбачева. Неприятие ядерного оружия сближало их. Саммит закончился довольно торжественной церемонией подписания совместного заявления. Оно и сегодня, по-моему, читается вполне актуально <...>.

Дата визита Рейгана неуклонно приближалась, сенат, затянув до последнего момента, 27 мая ратифицировал Договор о ликвидации ракет средней дальности и после четырнадцатилетнего перерыва в визитах президентов США в нашу страну Рейган прибыл в Москву⁶.

Официальная церемония прибытия состоялась в огромном Георгиевском зале Кремля. Рейган и Нэнси шли, взявшись за руки, президент оглядывался по сторонам, смотрел на потолок и люстры и был явно поражен масштабом. Все шло по протоколу и сценарию, но я сразу обратил внимание на атмосферу — она была другой даже по сравнению с вашингтонским саммитом. И такая атмосфера сохранялась все последующие дни. И если вашингтонский саммит был началом конца гонки вооружений, то московский визит Рейгана — началом конца холодной войны. Главным событием визита стали не переговоры, не обмен ратификационными грамотами по Договору РСМД и даже не речь Рейгана в МГУ (которая, надо сказать, ему очень удалась — такие выступления были его коньком), а прогулка Горбачева и Рейгана по Красной площади и Кремлю. Не знаю, была ли прогулка заранее обговорена с американцами, но, когда Михаил Сергеевич предложил это Рейгану, тот с удовольствием согласился. Сначала постояли на Ивановской площади, где Горбачев рассказал о происхождении словосочетания «кричать во всю Ивановскую», потом вышли из Спасских ворот на Красную площадь, где несколько раз говорили с группами гулявших там людей (вполне возможно, специально отобранных). У Рейгана была заготовлена, видимо для такого случая, очень удачная фраза: «We must talk to each other rather than about each other» («Надо говорить друг с другом, а не друг о друге»). Я потом ее часто вспоминал, особенно в последние годы. Потом вернулись в Кремль через вход Никольской башни и остановились у Царь-пушки, где лидеров поджидала группа журналистов. Вопросы были разные, как обычно довольно бледные у наших корреспондентов и очень по делу — у американцев. И тут произошло событие. Один из журналистов спросил у Рейгана, считает ли он по-прежнему Советский Союз империей зла. Рейган не стал уклоняться от ответа. — Нет, — сказал он, — то было другое время, другая эра. А на пресс-конференции, завершавшей его визит, он подтвердил свои слова и выразился еще яснее: — В большой мере это происходит благодаря господину Горбачеву. Я думаю, здесь происходят перемены, они стремятся к переменам... Я прочитал «Перестройку» и нашел там много, с чем я могу согласиться. Любого другого президента правые подняли бы на вилы за такие слова. Но Рейган был для них неприступен. В этом была его сила. Он был искренен, когда говорил об «империи зла», и искренен, когда говорил, что больше так не думает. Много лет спустя Горбачев писал об этом моменте: «Мы не стали по этому поводу устраивать ликование. В конце концов мы свою страну никогда империей зла не считали. Но я отнес это признание Рональда Рейгана к главным резуль-

татам его визита в Москву». А в самом конце визита президента США произошел инцидент, который мог бы сильно его омрачить. В последний день было запланировано посещение Большого театра, а после балета — ужин только для Горбачева и Рейгана с супругами на даче в Ново-Огарево. Но представление началось с большим опозданием из-за того, что охрана Рейгана настаивала на дополнительном досмотре зрителей. Об этом доложили Горбачеву. Это был один из редких случаев, когда я увидел, что Горбачев по-настоящему возмущен, хотя он сохранял спокойствие. Вместе с Раисой ему пришлось ждать в одном из кремлевских помещений сигнала из театра о том, что все готово и «можно идти».

— Ну, что, — сказал Горбачев, — если они нам не доверяют... не знаю, может, не надо этого ужина? В театре перекусим... Раиса Максимовна отреагировала после короткой паузы, не без иронии, как мне показалось:

— Да и устали они, наверное.

Подал голос начальник охраны Медведев:

— Давайте отменим ужин, если они нам не доверяют. Мы так старались, чтобы визит хорошо прошел, а они...

Горбачев посмотрел на меня. Раиса спросила:

— А вы что думаете?

— Честно говоря, — ответил я, — если можно не отменять ужин, то лучше не отменять. Визит прошел хорошо, а осадок останется нехороший.

...Через несколько минут мы были в Большом театре. Рейган и Нэнси прибыли с сияющими улыбками, было видно, что они ожидают ярких впечатлений.

— Господин президент, — обратился к Рейгану Горбачев, — мне сказали, что возникла угроза вашей безопасности. Ваши люди что-то нашли? Может быть, бомбу?

Рейган ответил, что ни о чем таком не слышал.

— А мы волновались, — продолжал Горбачев. — Ну ладно, не будем об этом. Посмотрим балет, а потом поедem к нам на дачу и там поужинаем.

<...> Речь Горбачева в ООН действительно была поворотным пунктом в выстраивании его внешней политики. Она и сегодня звучит сильно, в ней много такого, к чему России рано или поздно придется вернуться. Когда мы с Виктором Суходревым чуть ли не до полуночи переводили присланный со Старой площади окончательный текст, его неординарный характер бросался в глаза. Помимо всего прочего текст был хорошо написан и, как все хорошо написанные тексты, переводился легко. Несколько легкомысленно я положил единственный экземпляр перевода в портфель и по-

ехал домой спать. На следующий день, слава Богу, не забыв текст, я летел в Нью-Йорк — уже в который раз... Но это был, конечно, особый случай. Из аэропорта имени Кеннеди мы ехали в кортеже автомобилей, длиннее которого я не видел ни до того, ни после. Службы охраны — американская и советская — приняли все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Были заблокированы все улицы, ведущие к шоссе, по которому шла эта нескончаемая вереница, полгорода стояло в пробках. Академик Арбатов, время от времени появлявшийся рядом с Горбачевым, даже предположил, что это чуть ли не подстроено специально, чтобы настроить жителей Нью-Йорка против Горбачева, но его опасения не оправдались. Люди, которых опрашивали журналисты местных телеканалов, были настроены доброжелательно и даже восторженно. Утром в день выступления я пришел в наше представительство пораньше, чтобы внести в перевод последние изменения и взглянуть на газеты. Выходя из кабинета, увидел на экране телевизора сообщение о землетрясении в Армении. Очень кратко: мощные подземные толчки. О пострадавших в первые минуты ничего не сообщали. Как рассказывал потом Михаил Сергеевич, ему тоже успели сообщить только о факте землетрясения. Через несколько минут я входил вместе с ним в зал Генеральной Ассамблеи. На секунду промелькнуло воспоминание о том, как в ноябре 1974 года я впервые вошел в ооновскую кабину синхронного перевода, взглянул с высоты третьего этажа на огромный, напоминающий гигантскую пещеру зал...

Горбачева слушали в абсолютной, почти звенящей тишине. И слышали больше, чем ожидали. Это было прощание, разрыв с догмами прежней политики. Перечитывая эту речь сегодня, в ней трудно найти даже следы «марксизма-ленинизма». Главное — не было пропасти между внутривнутриполитическими реальностями и внешнеполитической риторикой. Потому что к этому времени в стране уже очень многое изменилось, как нам тогда казалось, бесповоротно: «Сейчас в местах заключения нет людей, осужденных за свои политические и религиозные убеждения. В проекты новых законов предполагается включить дополнительные гарантии, исключающие любые формы преследования по этим мотивам». Кто раньше мог такое сказать? И вот это запомнилось: «Было бы наивно думать, что проблемы, терзающие современное человечество, можно решать средствами и методами, которые применялись или казались пригодными прежде». И это актуально сегодня: «Наращивание военной силы не делает ни одну державу всесильной». И многое другое можно цитировать. Но было сказано и такое, что еще предстояло

доказать: «Свобода выбора — всеобщий принцип, и не должен знать исключений».

Тогда это могло показаться демагогией: а как же Восточная Европа? Но уже через несколько месяцев доказательства были предъявлены. Венгры разрезали колючую проволоку на границе с Австрией. Тысячи «восточных немцев» рванули на Запад через Чехословакию. И понеслось...

Оказалось, что слова о признании свободы выбора — не пустая риторика. В тот день в СМИ, среди политиков и дипломатов больше всего говорили об анонсированных Горбачевым шагах по сокращению наших войск в Восточной Европе. Да, это выглядело впечатляюще: уменьшение численности вооруженных сил на 500 тысяч человек, вывод из Восточной Европы и расформирование шести танковых дивизий, артиллерии, самолетов... Но пронизательный Джордж Шульц сказал: не это главное. Это действительно новое мышление, сказал он. Это конец холодной войны. Я не думаю, что он поспешил с выводом. Переполненный зал встретил речь Горбачева овацией. Аплодировали так долго, что нельзя было не сделать вывод — искренне. А у Горбачева — следующий пункт программы. Предстояла встреча с Рейганом и избранным месяцем назад его преемником — Джорджем Бушем. Местом встречи избрали Губернаторский остров — клочок земли между Манхэттеном и Бруклином <...> Не доезжая до паромной переправы у моста, кортеж остановился: срочная просьба из штабной машины. Это был такой же ЗИЛ, как и первая машина, там связь и расчет охраны. Вышедший из машины начальник «девятки» Плеханов сообщил Горбачеву: звонок из Москвы, просят поговорить до начала встречи. Горбачев, не обсуждая, вышел и сел в машину связи. Мне кажется, он предполагал, о чем пойдет речь. Вернувшись минут через десять, он сказал: — Рыжков звонил. Беда. Землетрясение в Армении очень мощное. Разрушительное. Пока не знают, сколько людей погибло, но плохо дело. Я попросил Язова и всех подключиться. Сразу после переговоров буду звонить. Большая беда.

Нью-Йорк: остаток дня и отъезд

Горбачев рассказывал потом, что решение прервать поездку и вернуться в Москву в связи с землетрясением он принял сразу после телефонного разговора с Рыжковым. Беседу с президентами он начал с рассказа об этом звонке. Американцы сразу предложили помощь, Горбачев поблагодарил. Сказал, что скорее всего программу поездки придется сократить, но «надо посоветоваться». Рейган подытожил совместную работу:

— Готовясь покинуть свой пост, я с гордостью вспоминаю о том, чего мы с вами вместе добились. Буш сказал, что продолжит курс на сотрудничество.

— Думаю, его уже нельзя повернуть вспять. Во всяком случае, я лично хочу на основе достигнутого строить дальше наши взаимоотношения.

После этого все прошли в довольно скромную комнату, где был накрыт стол для ланча. Разговор был продолжен вместе с другими участниками. Читая сегодня запись беседы, вижу, что всего за час-полтора удалось обсудить многое: региональные проблемы, запрещение химического оружия, ядерные вооружения. Во многом соглашались. Но возникали и «нюансы». Например, Горбачев отметил:

— Мне показалось, что вице-президент с несколько меньшим энтузиазмом подходит к вопросу о 50-процентном сокращении стратегических вооружений. Буш не уклонился от ответа:

— Вы только наполовину правы. Я поддерживаю глубокие сокращения стратегических арсеналов, но считаю, что этот вопрос надо рассматривать в комплексе с другими проблемами безопасности. Это было, конечно, предвестником «стратегического обзора», затеянного новой администрацией в первые месяцы его президентства. В итоге больших изменений в позиции США по СНВ не произошло, но время было упущено. Говорили, конечно, и о переменах в СССР.

— Мы свой выбор сделали, — сказал Горбачев. — Общество будет меняться в направлении основных тенденций мировой цивилизации. Мы полностью отдаем себе отчет, что изменить придется очень многое. Понимаем, что будет трудно, и вы тоже должны это знать. Нам уже трудно. И мы знаем, что новому президенту дают разные советы, в том числе — воспользоваться этими трудностями, чтобы навязать свою волю, а еще лучше — развалить это «проклятое государство».

Рейган отреагировал сразу (цитирую по записи беседы):

— Хочу, чтобы вы правильно нас поняли. Мы за перестройку. Если и есть какие-то деятели, которые желают вашим реформам провала, то их лишь горстка, и они не выражают мнения большинства. Его поддержал Буш:

— Я уверен, что у нас в стране нет серьезных деятелей, которые желали бы перестройке неудачи и радовались бы хаосу в Советском Союзе. Когда беседа близилась к концу, Горбачев сказал:

— В таком трудном деле, которое мы начали, могут случаться и временные откаты — ведь это многогранный процесс, порой сопряженный с борьбой, но процесс необратимый. И завершающий

тост Рейгана: — Хочу, чтобы вы мне поверили. Мы действительно вас поддерживаем в этом трудном начинании. Предлагаю в этой связи прощальный тост: за ваши достижения, за то, чего мы с вами вместе добились. И наконец, за то, чего вы еще добьетесь в сотрудничестве с будущим президентом США. После разговора — фотографирование на улице. Рейган на несколько минут вышел, и Буш отвел Горбачева в сторону. Снова говорили без американского переводчика. Сказанное им я потом записал по памяти:

— Хочу вам сказать, что, подбирая свою команду, я не назначил и не назначу ни одного человека, который враждебно относился бы к тому, чего мы достигли на нашем курсе развития советско-американских отношений. Этому я лично придаю большое значение при подборе людей. Можете на это рассчитывать. А после этого стал говорить, что его беспокоит то, что происходит в Центральной Америке, и он просит Горбачева уделить внимание этой проблеме. Это был, конечно, намек на действия Кубы в этом регионе — заранее подготовленный ввиду того, что из Нью-Йорка Горбачев должен был лететь в Гавану. Фотографировались втроем на специально установленном подиуме. Место было выбрано очень эффектное, фон — бухта, статуя Свободы, Ист-Ривер, небоскребы Манхэттена... День был прохладный, дул сильный ветер. Так что всем, в том числе Рейгану, который любил фотографироваться без пальто (в 1985 г. в Женеве из этого даже сделали «пиар-ход»), пришлось утеплиться. Протокольщики, особенно американские, очень не любят, когда на постановочных снимках в кадр попадают переводчики. Поэтому меня и моего американского коллегу попросили стоять внизу, а «президенты друг друга поймут». Но через пару минут Горбачев все-таки подозвал меня, и я избежал на подиум, перевел несколько реплик и пояснений. У меня сохранилось несколько фотографий встречи на Губернаторском острове, в том числе этого эпизода. Смотреть на эти фотографии сегодня немного грустно. Умерли Рейган, Буш, разрушены башни-близнецы... Кто-то скажет, что и дело, начатое в те годы, тоже разрушено. Что тут скажешь... Я все-таки думаю, что оно не разрушено полностью и со временем будет продолжено. У Горбачева было намечено еще два мероприятия — встреча с бизнесменами и большой прием в ООН. Башни-близнецы, где состоялась сокращенная до получаса встреча с бизнесом, не были шедевром архитектуры, но вид со 101-го этажа открывался потрясающий. Горбачев обошел смотровую площадку, особенно внимательно смотрел на зажатый между Гудзоном и Ист-Ривер Манхэттен с его небоскребами, как бы вырастающими из скальной породы. Он не скрывал своего впечатления. Он вообще умел восхищаться

плодами трудов человеческих. И в кратком выступлении он об этом сказал. Пришлось к слову и Бруклинский мост:

— Мне рассказали, как нелегко было воздвигнуть это сооружение. И я думаю, так же трудно было освоить и построить вашу огромную страну. Сейчас мы пытаемся перестроить нашу страну, сделать ее современной, открытой для сотрудничества со всеми.

Вернувшись в представительство, Горбачев поднялся к себе, попросил делегацию подождать. Ждали, наверное, минут десять. Яковлев сказал: — Я буду рекомендовать сократить поездку. Но все и так было ясно. Спустившись в зал, Горбачев объявил: — Новости очень тяжелые. Думаю, все согласны: летим в Москву. И попросил Шеварднадзе объявить об этом прессе. На прием в ООН все-таки поехали. Сборы было грандиозное. Горбачеву пришлось пожать руку сотням людей. Главы государств, послы, знаменитости. Представляя некоторых из них, ооновский шеф протокола объявлял: — Mr. and Mrs. X, of the high financial circles of New York. Среди этих «птиц высокого полета» был и Дональд Трамп⁷ — еще молодой, уже богатый, тогда еще демократ. На другое утро, перед отъездом в аэропорт, Горбачеву позвонил Буш. Еще раз выразил сочувствие в связи с землетрясением — новости из Армении рисовали жуткую картину. Подтвердил сказанное накануне. Но и на этот раз слышались «нюансы»:

— Может быть, вчера мои высказывания показались вам чуть-чуть отвлеченными. Но ведь мы только начинаем. Может быть, вам казалось, что меня что-то придерживает. Но такова уж наша система, это неизбежно, рядом был президент. Во всяком случае, хочу заверить вас, что мои ключевые сотрудники готовы к самому серьезному и подробному разговору с вашими людьми — более обстоятельному, чем мне удалось вчера.

В самолете, через пару часов после отлета, Горбачев вышел из своего салона поговорить с сопровождающими. Поблагодарил очень тепло. Сказал, что на другой день после прилета в Москву полетит в Армению — все остальное придется отложить. Это было понятное и естественное для него решение. Поездка в Армению оказалась во всех отношениях тяжелой. И не только из-за увиденного. Но меня там не было. Может быть, об этом написали другие.

На фоне тектонических сдвигов (I)

Начиная с лета 1989 года, все, что происходило в мире, в стране, в жизни людей и в моей работе, разворачивалось на фоне тектонических сдвигов, которых еще несколько месяцев назад никто не предсказывал и не ожидал. Поднявшийся ветер перемен нес

разное, в том числе пыль и мусор, это было «явление природы», которое сильнее человеческих желаний. В Европе все началось с не всеми замеченного события — венгры убрали колючую проволоку на границе с Австрией. В новостях австрийского телевидения репортаж об этом шел четвертым или пятым пунктом. Но сразу же тысячи немцев из ГДР хлынули в Венгрию, а оттуда — в Западную Германию. Берлинская стена, два десятилетия разделявшая две Германии, на глазах утрачивала свой «функционал». Посол Квиндинский⁸ писал из Бонна, что венгры сделали канцлеру Колю царский подарок. Режим Хонеккера⁹ был в ярости — но сделать ничего не мог. Те, кто и сейчас тоскует по «социалистическому лагерю», винят в его исчезновении Горбачева, и у них есть для этого основания. Потому что в таких вопросах все зависит от первого лица. Реши тогда Горбачев, что надо вмешаться, что надо любой ценой остановить происходящее, думаю, большинство членов политбюро его поддержали бы — кто-то с энтузиазмом, кто-то не очень охотно. И вся государственная машина бросилась бы это выполнять, и холодная война, едва утихнув, началась бы с новой, еще более опасной силой.

<...>

При всем сочувствии и понимании в одном я не мог согласиться с Шеварднадзе. О давлении на Горбачева — ввести в Прибалтике президентское правление, распустить парламенты — он знал, конечно, больше меня. Все так. И было бы странно, если бы президент страны смотрел на происходящее беспечно и просто отмахивался от этих призывов. Он, в конце концов, отвечал за страну. Этим его положение отличалось от положения Ельцина, который уже открыто призывал отпустить Прибалтику. Но я убеждал себя, что в конечном счете Горбачев удержится от крайних мер. Это определило мой выбор. На другой день я позвонил Черняеву. Он знал, что Горбачев предлагал мне перейти в формировавшийся тогда аппарат президента. И, по-моему, был рад, что я наконец решился, хотя у него самого настроение было тоже плохое.

— Я с ним поговорю, — сказал Черняев. — Он, я уверен, согласится. Пару дней спустя началось мое «оформление»

<...>

Последний саммит

Визит Буша начался 30 июля с церемонии прибытия в Георгиевском зале¹⁰. За Договор СНВ мы были спокойны. В отличие от вашингтонского саммита в 1987 году, ни один вопрос по договору не «висел», были согласованы тысячи страниц текста

самого договора и сопровождающих его документов — меморандума об исходных данных, протоколов о забрасываемом весе, о процедурах ликвидации, об уведомлениях, о телеметрии, об инспекциях (с двенадцатью приложениями!) ... Удалось даже согласовать заявления о крылатых ракетах морского базирования (в основном имелся в виду обмен информацией и согласование в будущем методов контроля, но раньше и это казалось невозможным). Все хорошо, договор прослужил стране двадцать лет, но я не мог избавиться от мысли, что политическое значение его было бы гораздо больше, если бы он был подписан на год-полтора раньше. Напряженность в стране немного ослабла, но ее отголоски и сложности в отношениях между главными действующими лицами ощущались. «Герои августа» ничем, разумеется, не выдавали своих намерений, до осуществления которых оставалось меньше трех недель¹¹. Зато Ельцин капризничал и выкидывал номера. Он не пришел на приветственную церемонию в Кремле — как предполагали комментаторы, чтобы не создавать впечатление, что он в «команде Горбачева». А на обеде в Кремле случился, как сказал бы Александр Бовин, «музыкальный момент». Перед обедом вообще были сомнения, придет ли Борис Николаевич. Он пришел. Но сначала в зал вошла Наина Иосифовна¹², вместе с мэром Москвы Поповым. Я не сразу понял почему. Ельцин вошел в одиночестве, широко улыбаясь, уже после того, как последние гости прошли к столам, поприветствовав двух президентов с супругами. Это был «протокольный маневр», изумивший всех и подчеркивавший особый статус Ельцина: президент России не хотел быть рядовым гостем. Ему надо было войти в зал наравне с главными лицами. Но все-таки без супруги — в этом был определенный компромисс. — Что ж ты доверил жену Попову, Борис Николаевич? — с некоторым напряжением в голосе пошутил Горбачев. — А он уже не опасен, — ответил Ельцин, после чего торжественно вошел в зал вместе с Горбачевым и Бушем. На другой день кто-то из американцев сказал мне, что маневр Ельцина не остался незамеченным. Более того — огорчил Буша, который надеялся, что раздоры между Горбачевым и Ельциным остались в прошлом. В заключительной беседе об этом сообщил Михаилу Сергеевичу и сам Буш. В первой беседе Горбачев рассказал Бушу об итогах переговоров с Ельциным и Назарбаевым. Не только о согласовании Союзного договора, но и о договоренности ускорить реформы — провести быструю либерализацию цен, двигаться к конвертируемости рубля.

— Нам предстоят вскоре очень ответственные, даже драматические шаги, — отметил Горбачев. — Мы рассчитываем на реаль-

ную поддержку с вашей стороны, чтобы выиграть эту решающую битву за реформу. Буш отвечал, казалось бы, не совсем «по теме», осторожно, но это были важные слова:

— У меня создалось впечатление, что некоторые здесь считают, что в Соединенных Штатах есть существенные силы, стремящиеся добиться распада Советского Союза или его экономического краха. Когда казалось, что Горбачев и Ельцин идут друг на друга, что между ними не может быть примирения, некоторые у нас утверждали, что надо поставить все деньги на Ельцина. Однако администрация никогда не разделяла подобных взглядов, как и американский народ. Хочу заверить вас, что во время поездки в Киев ни я, ни кто-либо из сопровождающих меня не допустит чего-либо, что могло бы осложнить существующие проблемы, вмешаться в вопрос о том, когда Украина может подписать Союзный договор. Ни в коем случае я не собираюсь поддерживать сепаратизм. Киев был включен в программу визита только после того, как ваш министр иностранных дел сообщил, что вас это устраивает. Конечно, у нас есть с вами трудности по Прибалтике. Ландсбергис очень хотел, чтобы по пути домой я совершил посадку в Вильнюсе. У нас, конечно, хватило сообразительности, чтобы понять, что этого не надо делать. В то же время не могу не сказать, что, на наш взгляд, лучше всего было бы, если бы вы нашли возможность отсечь, отпустить на волю эти республики. Это прекрасно повлияло бы на общественное мнение. Но вам известна моя точка зрения. Это — ваш вопрос. Я считаю, что рассказанное вами о работе над Союзным договором, новых отношениях с республиками вселяет надежду.

Здесь приведу без комментариев несколько абзацев из речи Буша в Верховной раде 1 августа 1991 года: «Некоторые призывали Соединенные Штаты сделать выбор между поддержкой президента Горбачева и поддержкой стремящихся к независимости лидеров повсюду в СССР. Я считаю, что это ложный выбор. Справедливость требует признать, что президент Горбачев добился удивительных достижений и что его политика гласности, перестройки и демократизации ведет к целям свободы, демократии и экономического освобождения. Но свобода и независимость — не одно и то же. Американцы не поддержат тех, кто стремится к независимости ради того, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать сторонникам самоубийственного национализма, основанного на этнической ненависти». За эту речь, которую депутаты Рады встретили овацией, Бушу сильно влетело. Спектр критиков был широкий — от народного поэта Украины Ивана Драча, который назвал Буша «гонцом от Горбачева», до бывшего

спичрайтера Никсона, комментатора «Нью-Йорк таймс» Уильяма Сафира, который придумал для речи Буша прилепившееся к ней название *Chicken Kiev*, то есть «котлета по-киевски» (*chicken* — цыпленок — в американской культуре является символом трусости). Но Буш никогда не отрекался от своих слов.

Потом, задним числом, мне казалось, что над этим саммитом висела туча. Хотя погода в Ново-Огарево 31 июля, когда Горбачев и Буш в узком составе обсуждали перспективы отношений и сотрудничества СССР и США на мировой арене, была отличной. Президенты, Черняев, Бессмертных, Бейкер¹³ и Скоукрофт¹⁴ сидели в легкой одежде на веранде довольно скромного гостевого дома, когда Бейкеру принесли записку. Он прочитал ее, посмотрел на Буша, и тот сразу понял, что произошло что-то важное.

— Что это, Джим? — спросил он. — Только что «Ассошиэйтед пресс» сообщило, — не без драматизма в голосе прочитал Буш, — что вооруженные люди напали на литовский таможенный пост на границе с Белоруссией, семь человек убито. Пока дополнительной информации нет. На несколько секунд все буквально онемели.

Потом Горбачев обратился к Черняеву:

— Анатолий, позвони Крючкову, выясни, что произошло. Черняев вернулся через несколько минут. Крючков подтвердил, что нападение действительно произошло, погибли четыре человека (потом оказалось, что данные у информационного агентства были точнее, чем у КГБ), начато расследование. «Разрабатываются три исходные версии: действия организованной преступной группировки, напряженные отношения между белорусами и литовскими таможенниками и внутрилитовский конфликт». Конечно, это была провокация, у которой могли быть разные цели, в том числе омрачить саммит и выставить в дурном свете Горбачева. Думаю, в какой-то мере эта цель была достигнута. И все же ни этот инцидент, ни последующие события не перечеркивают для меня значение саммита и особенно доверительного разговора в Ново-Огарево. Обсуждали стратегическую стабильность, сокращение вооружений, Ближний Восток, Югославию, экономическое сотрудничество, и это обсуждение было не просто, как принято говорить дипломатическим языком, конструктивным, а скорее партнерским. И сегодня я думаю, что партнерство не было утопией. В Москву Горбачев и Буш возвращались вместе. Разговор не запомнился, кроме одного неожиданного вопроса, который задал американский президент:

— Что ты думаешь о Язове, Михаил? Ты ему доверяешь?

— Да, — ответил Горбачев. — Язов человек основательный, надежный. В такие бурные времена удерживать армию нелегко,

и он мне помогает в этом. Офицеры его уважают. Был ли этот вопрос намеком, сказать сейчас трудно.

У меня всегда было впечатление, что Язов не был среди инициаторов попытки переворота и оказался в ГКЧП в последний момент. Но это, я понимаю, спорно. В последние годы своей жизни он однажды послал Горбачеву сигнал, что хотел бы помириться. Но этот сигнал остался без последствий.

Август 1991-го

После саммита всегда много работы — закончить и считать записи бесед, привести в порядок документы, прочитать первые телеграммы с откликами из-за рубежа и тому подобное. Черняев собирался в отпуск «на юг» вместе с Горбачевым, я тоже взял отпуск на две недели. Договорились, что я выйду на работу 20 августа, в день подписания Союзного договора.

— Я пока не знаю, какой будет протокол, — сказал Черняев, — но вам лучше быть там в этот день — возможно, будет общение с прессой или что-то еще.

Мы с Леной сначала решили съездить на теплоходе по Волге, но потом — не помню уже по какой причине — передумали. День 19 августа застал меня в Москве. Я проснулся, когда Лена с Лизой выходили из дома — Лена отводила дочь в детский сад, потом ехала на работу в МИД, тогда она работала в историко-дипломатическом управлении. Уже у двери она сказала:

— Послушай, что-то странное, по радио передают заявление какого-то комитета по чрезвычайному положению. Я в полусонном состоянии включил телевизор. Передавали симфоническую музыку, кажется, со скрипкой. Догадаться, что произошло, было нетрудно. Потом диктор начал читать документы «государственного комитета по чрезвычайному положению». Насколько помню, первым зачитали заявление Лукьянова с критикой проекта Союзного договора. Это была своего рода прелюдия к лживому указу вице-президента Янаева «о невозможности по состоянию здоровья исполнения Горбачевым М. С. обязанностей президента» и заявлению ГКЧП, заканчивавшемуся подписями: Янаев, Павлов (премьер-министр), Бакланов (секретарь ЦК). Суть происшедшего была мне ясна с самого начала. Это был переворот. Переворот, который осуществили люди, с которыми Горбачев остался, когда от него ушли демократы. В этом была «ирония истории», которая резонировала новыми оттенками все последующие три дня. Немного легче становилось только от того, что я ни на минуту не верил, что все это «постановка» и Горбачев был одним из ее участников.

Не верил тогда и не верю сейчас, несмотря ни на какие инсинуации и наветы. Во-первых, потому что для Горбачева пойти на такой шаг накануне подписания договора было бы совершенно иррационально, во-вторых — потому, что говорил с тех пор не раз с людьми, которые были с ним в Крыму — Черняевым, Игорем Борисовым, врачом президента, которого пытались заставить подписать бумагу о «невозможности по состоянию здоровья», и другими. Эти люди многим тогда рисковали — и остались верны Горбачеву и правде. С самого начала я считал, что при любом исходе событий будет только хуже. Но в первый день, должен в этом признаться, у меня было ощущение, что ГКЧП может на какое-то время удержаться. Возможно, на год, возможно, на два-три. Люди устали — устали не только от тягот повседневной жизни и дефицитов, но и от политики, и эта апатия могла сыграть на руку путчистам. Для себя я сразу решил, что работать на «новую власть» не буду, и говорил об этом всем, кто спрашивал. В своем решении я не сомневался и был уверен, что смогу заработать на хлеб себе и семье. Я не думал, что мне что-то грозит, а за Горбачева, конечно, волновался: в течение двух с половиной дней ничего не было известно о том, что с ним происходит. Лена работала тогда на полставки и вернулась домой около двух часов.

— Ты понимаешь, что происходит? — спросил я.

— Более или менее понимаю, — ответила она и рассказала о том, как встретили новости в МИДе:

— Мой начальник конспектирует статью Лукьянова, ругает Союзный договор. Говорит, что ты глупо поступил, уйдя из МИДа. Остался бы — сейчас бы нормально работал. Как ни странно, оба мы рассмеялись. Потом она мне рассказывала, что в эти три дня то же самое ей говорили несколько человек: одни с сочувствием, другие — не скрывая злорадства.

— Я, конечно, должен буду уйти, — резюмировал я. — Как все обернется, трудно сказать, но может быть плохо. С трудоустройством могут быть проблемы. Но заработать переводами я всегда смогу <...> Выживем. Возможно, это было несколько легкомысленно: у переворота есть своя логика, и рано или поздно началась бы «ревизия» всего, что связано с политикой Горбачева и, может быть, в первую очередь, внешней. На президента стали бы вешать всех собак, и это сказалось бы на людях его окружения. За несколько месяцев до ГКЧП в газете «Литературная Россия» была опубликована статья с требованием пересмотреть все договоры и соглашения, подписанные в последние несколько лет <...> Вечером 19-го мы смотрели телевизор. Несколько программ отменили, в том числе «Спокойной ночи, малыши!», что очень расстроило Лизу.

Показывали новости — они были противоречивыми. Ельцина не арестовали, он призывал к всеобщей забастовке. Показывали танки и бронетранспортеры на улицах Москвы и баррикады вокруг Белого дома. Тогда там был российский парламент и центр сопротивления ГКЧП. Меня немного удивило, что телевидение хотя бы отчасти дает реальную информацию. «Комитет» явно не держал ситуацию под полным контролем. Но больше всего он навредил себе вечерней пресс-конференцией, которая, наверное, у всех осталась в памяти. Мне больше всего запомнился вопрос, который задала Татьяна Малкина:

— Понимаете ли вы, что совершили государственный переворот? Проведя весь день 19-го дома, утром 20-го я вышел на улицу, заглянул в магазин, на рынок. День был теплый, влажный, а люди — какие-то вялые, но некоторые обсуждали происходящее. Пожилая женщина, продававшая помидоры, ругала Горбачева:

— Все только хуже стало при нем. Хорошо, что его не будет.

— И заживем! — отреагировал мужчина средних лет, как мне показалось, с сарказмом. В магазине было побольше, чем обычно, продуктов. Хорошо одетая интеллигентного вида женщина прокомментировала:

— Открыли закрома родины! И тут же, на одном дыхании, продолжила: — А Горбачев — один из них. Вот увидите — зажмут они республики и прессу, и он снова появится. Потом я съездил на час в центр, и там две пожилые женщины меня даже узнали. Подошли ко мне, одна спросила: — А вы что сейчас делаете?

— В ближайшее время вряд ли я буду что-то делать, — ответил я. — Вы не с ними? — спросила она. — Нет, не с ними. Дома я включил радио и услышал по «Маяку» два-три сообщения о забастовках и протестах. Мне показалось, что они немногочисленны, но сам факт передачи таких сообщений удивил.

— Кажется, они не полностью контролируют даже радио, — сказал я вернувшейся с работы Лене. — Может быть, у них ничего не получится.

<...>

Я понял, что все будет решаться в Москве. В Москве люди собирались вокруг Белого дома. В центре событий — Ельцин. Он призвал к всеобщей забастовке, у которой, по-моему, не было никаких шансов. Но важно было другое: Ельцин, на тот момент самый популярный политик в стране, против путча. Его организаторы, видимо, не имели четкого плана действий, но по крайней мере некоторые из них, наверное, рассчитывали с ним договориться. Не смогли. А арестовать, как требовал в телеграммах из Киева отправившийся туда уламывать Кравчука генерал Варенников, не ре-

шались. ГКЧП провалился потому, что ни Горбачев, ни Ельцин не стали с ним сотрудничать. А Ельцин возглавил сопротивление. Надо отдать ему должное — без «нюансов» и экивоков, и несмотря на сохраняющуюся неприязнь к Горбачеву. И все же в эти дни у меня было стойкое ощущение, что при любом исходе событий произойдет перелом к худшему. Что меня очень огорчило в этот день — это выступление на митинге у Белого дома Шеварднадзе.

— Где Горбачев? — спрашивал он. — Он как-то причастен ко всему этому? Если нет, то пусть ему дадут возможность выступить и объяснить людям, что происходит. Эти слова можно было истолковать двояко, и я думаю, многие истолковали их не в пользу Горбачева. Слушая Эдуарда Амвросиевича, я внутренне не соглашался с ним, но, как не раз до этого и потом, думал о том, что политики — живые люди, со своими человеческими недостатками и изъянами, которые надо им прощать. Но сами они прощают их друг другу не всегда <...>.

Горбачев после прибытия из Фороса сказал, что вернулся в другую страну. Но тогда он в полной мере еще не осознал, в какую. Главным в эти дни был всплеск антикоммунистических настроений в Москве. Наверное, он поспешил с пресс-конференцией 22 августа, буквально через несколько часов после прилета. Хотя я был, конечно, рад, что сижу в кабине синхронного перевода и перевожу выступление живого и здорового Михаила Сергеевича. Рад был не только я.

— Ты себе не представляешь, как мы обрадовались, когда увидели по телевизору Горбачева и услышали твой голос, — сказала мне в сентябре Маргарет Татуайлер, в те годы пресс-секретарь Госдепартамента США. На пресс-конференции Горбачеву задали вопрос о судьбе КПСС. Возможно, его не успели проинформировать о том, что 19 августа ЦК КПСС разослал в парторганизации письмо поддержки ГКЧП. Он стал говорить, что нельзя наказывать 19 миллионов членов партии — что само по себе, безусловно, верно. Этого он не мог не сказать, в этом был Горбачев. И если бы он этим ограничился... Но слова о том, что он по-прежнему надеется реформировать КПСС, звучали полным диссонансом с тогдашними настроениями. Это ему дорого обойдется, думал я, стараясь, конечно, «не отвлекаться от текста». Не так часто случалось подобное в моей работе, но на этот раз одновременно с переводом в моей голове роились самые неприятные мысли. На следующий день Черняев позвал меня в свой офис в здании ЦК, чтобы помочь подготовить к переезду в Кремль документы, записи и другие бумаги. Немного рассказал мне о форосском заточении.

— Это было даже хуже, — сказал он, — чем самые тяжелые дни на фронте. Там по крайней мере контролируешь свои дей-

ствия, знаешь, что ты можешь сейчас сделать, а чего не можешь. А здесь... мы были напрочь отрезаны и знали, что за каждым нашим шагом следят. Было ощущение абсолютной беспомощности, особенно вначале.

В это время по телевизору показывали прямую трансляцию заседания Верховного Совета России, на котором присутствовал Горбачев. Ельцин махал какой-то бумагой — это был протокол заседания союзного Совмина в первый день путча — и требовал:

— Читайте, читайте вслух! Чтение сопровождалось выкриками, улюлюканьем. Отвратительное зрелище.

— Как они могут! — воскликнул Черняев, которого всегда шокировала агрессия и наглость. — И как ему теперь продолжать быть президентом, — добавил он как бы вдогонку... В это время включилась внутренняя система радиооповещения. Мы услышали мужской голос (если не ошибаюсь, это был Василий Шахновский — тогда управляющий делами московской мэрии, впоследствии — один из руководителей ЮКОСа, теперь — пенсионер-путешественник, проживающий в Швейцарии): — В соответствии с распоряжением мэра Москвы здание сегодня будет опечатано. Находящиеся в здании должны немедленно покинуть его. Вам разрешается взять с собой личные вещи. Милиция обеспечит вашу безопасность. Звучало это довольно зловеще. К этому времени здание окружила толпа, выходявших из здания людей оскорбляли, освистывали, некоторых толкали. В кабинет Черняева вошел сотрудник охраны, предложивший покинуть здание через незаблокированный выход. Черняев уходить не спешил. Он не боялся. Я уверен, он нашел бы что сказать беснующейся толпе. Но охранник настоял на своем:

— Мне поставлена задача. Через несколько минут мы были в Кремле. Черняев больше никогда не переступал порог бывшего здания ЦК КПСС. А я? Я там бывал. В этом здании находится сейчас Администрация Президента Российской Федерации. В 1990-е годы и позднее, когда я работал в Совете Европы, я не раз переводил на встречах европейских чиновников и парламентариев со сменяющимися друг друга российскими начальниками разного уровня...

Большие маневры

Когда 24 августа Горбачев принимал верительные грамоты нового американского посла Роберта Страуса, в Кремле не было ни одного высокопоставленного мидовца. В дни путча наша дипломатия проявила себя бесславно. В первый день путча Бессмерт-

ных, сказавшись больным, уехал на дачу, а Квицинский отправил в посольства документы ГКЧП «для сведения». Но у большинства послов не хватило ума хотя бы взять паузу, многие бросились давать интервью в духе «произошло то, что должно было произойти» (таких инструкций у них, кстати, не было). Осудил ГКЧП только посол СССР в Чехословакии Борис Панкин¹⁵. Его Горбачев и назначил министром. Но в МИДе, и не только в нем, считали, что это фигура не того масштаба, который нужен, чтобы восстановить работоспособность и моральный дух министерства. К Шеварднадзе отправилась делегация мидовцев во главе с очень толковым начальником первого европейского управления Алексеем Глуховым — «выяснить, в чем дело». Шеварднадзе сказал, что был бы готов рассмотреть предложение вернуться на пост министра, но такого предложения он не получал. Горбачева можно было понять — он наверняка знал о выступлении Шеварднадзе на митинге 20 августа. Однако по-настоящему большая драма разворачивалась вокруг чрезвычайного съезда народных депутатов, назначенного на начало сентября. Оправившись от августовского удара, Горбачев продолжал биться за сохранение единого государства, теперь уже на основе нового, конфедеративного по сути договора. Миссия казалась многим невыполнимой, но он не опускал руки. Накануне съезда в Москву приехал Джон Мейджор¹⁶.

Великобритания тогда председательствовала в «семерке», и Мейджор был первым западным лидером, приехавшим в Москву после путча. После первой беседы с ним Горбачев отправился на встречу с Ельциным и руководителями республик. Я хочу, сказал Михаил Сергеевич, чтобы мы вышли на съезд с единой платформой. Вторая беседа с Мейджором состоялась поздно вечером, часов в десять. Горбачев был доволен переговорами с лидерами республик. Завтра, рассказал он Мейджору, первым на съезде выступит Назарбаев, он зачитает совместное заявление президента СССР и руководителей десяти республик. У нас общая позиция — за союзный договор с едиными вооруженными силами и единым экономическим пространством, с гарантиями прав человека на всей территории страны. В числе десяти республик, поддержавших заявление, Украина. Горбачев попросил меня перевести Мейджору текст заявления, и я увидел, что там есть абзац, к которому я приложил руку: съезду предлагалось поддержать заявления республик о приеме в члены ООН, имея в виду, что за Союзом останется членство в Совете Безопасности. У меня, к сожалению, не сохранился текст записки, которую я передал Черняеву за несколько дней до съезда. Но я помню аргументацию, которую в ней привел. Республикам, писал я, хочется междуна-

родного признания, но ни у одной из них еще нет возможности развернуть полноценное дипломатическое присутствие в мире. Сейчас центру надо действовать упреждающе и признать их право на членство в ООН, что сделает их субъектами международного права, сохранив для Союза статус постоянного члена Совета Безопасности, в том числе право вето. Договоренность Горбачева с Ельциным и лидерами республик явно произвела на Мейджора впечатление.

— Перед вами колоссальная задача, — сказал он, — и вы взялись за нее с поразительной энергией и целеустремленностью. Я желаю вам успеха и передам содержание нашей беседы коллегам по «семерке». И Мейджор, и приехавший в Москву 10 сентября Бейкер прямо говорили, что в интересах Запада — сохранение союзного центра. И в начале сентября такой итог казался возможным. Перечитывая сегодня записи бесед, которые я переводил — с сенатором С. Нанном, Бейкером, крупным бизнесменом Дж. Кристолом, министром финансов США Н. Брейди и председателем Федеральной резервной системы А. Гринспэном, — я еще раз убеждаюсь, что распад Союза они не считали неизбежным, более того — считали нежелательным. Кстати, Бейкер проявил наибольшее понимание внутривнутриполитических реальностей, с которыми сталкивался Горбачев. Когда речь зашла о радикальной экономической реформе, госсекретарь сказал:

— Я помню ваши слова во время беседы в ноябре прошлого года на даче под Москвой. Вы сказали: вы должны понять, что мне приходится маневрировать между мощными конкурирующими силами. И мы понимаем теперь, что в течение этого периода некоторые вещи просто невозможно было осуществить. И переворот открыл глаза всем на то, почему это было невозможно. (От себя я бы только добавил: может быть, и «открыл глаза», но до сих пор — не всем. Особенно у нас.)

— Необходимо, — продолжал Бейкер, — чтобы новое правительство выдвинуло убедительный план рыночной экономической реформы, тщательно проработанный вместе с МВФ и Всемирным банком, который воспринимался бы как имеющий реальные шансы на успех. Конечно, это потребует продолжения сотрудничества между республиками и центром. Если это произойдет, то я думаю, что мы сможем энергично участвовать в мобилизации международной поддержки усилий демократических сил в СССР. Бейкер обещал поддержать создание стабилизационного фонда для перехода к конвертируемой валюте. С важной оговоркой: — Любому стабилизационный фонд может быть предназначен только для единой валюты. Это будет стимулом для республик не заводить

собственные валюты. Выглядело парадоксально: госсекретарь США рассуждает о том, как помочь сохранить и укрепить единую советскую валюту. Но, наверное, еще больше волновал американцев вопрос о ядерном оружии.

— Нам важно выяснить, — сказал Бейкер, — где будет сосредоточен политический контроль стратегических ядерных вооружений. Этот же вопрос — и о тактическом ядерном оружии. Мы, разумеется, заявили публично, что надеемся, что будет сохранен централизованный контроль и командование. Мы не хотим, чтобы на территории Советского Союза образовалось несколько государств с ядерным потенциалом. Горбачев заверил его, что централизованный контроль и командование ядерными силами будут обеспечены в любом случае. Тогда, в сентябре, трудно было представить себе степень безответственности «беловежской тройки», которая три месяца спустя оставила этот вопрос фактически подвешенным в воздухе.

Последние недели

О «беловежском соглашении» я услышал по телевизору утром 9 декабря. Как и все, наверное, я чувствовал, что вскоре что-то должно произойти. Но что конкретно — трудно было предположить просто в силу импульсивности Ельцина. Будет он действовать один или найдет союзников — это тоже было неясно. Свой «черный ящик» он тщательно оберегал от чужого взгляда. В итоге у него созрел сильный ход — соглашение с Кравчуком и Шушкевичем. Думаю, они согласились бы на любое его предложение, так что в Беловежье он мог получить и больше. «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование... Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР) и Украина договорились образовать Содружество Независимых Государств» — это было главное в утреннем сообщении. Были там и другие слова, другие договоренности, было странное положение о том, что независимые государства будут «сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием». Все это вскоре рухнуло, но зато решалась задача избавиться от Горбачева. Ельцин, конечно, рассчитывал, что Россия будет главенствовать в Содружестве, и ему, и не только ему, потребовались годы, чтобы понять, что этому не бывать. Многие до сих пор не поняли... В те дни мне казалось, что главное для Горбачева — не сорваться, не наговорить лишнего, такого, что искрой может взорвать ситуацию. Лидеры не понимали, что режут

по живому, люди не понимали, что теряют страну. Многие думали, что будет что-то вроде «союза без Горбачева», ну и, конечно, «рынок, который все поставит на свои места». Черняев поражался:

— Они даже не предусмотрели ратификации своего соглашения парламентами. Им это не нужно! Хотя, если решатся на это, не сомневаюсь: парламенты утвердят. Люди устали, они скажут: пусть хоть содружество, это лучше, чем ничего. Так и оказалось. 12 декабря Верховный Совет России ратифицировал соглашение. Коммунисты дружно проголосовали «за». Первым, кому позвонили Ельцин, Кравчук и Шушкевич после подписания соглашения, был президент США Буш. Не знаю, сохранилась ли где-нибудь запись их разговора. Но знаю, что американцы были шокированы скоропалительностью принятых решений. 23, 24, 25 декабря... Последние дни в Кремле. Мы еще не знали, когда Горбачев выступит с заявлением об уходе, но понимали, что это произойдет очень скоро. 23-го около шести часов вечера меня вызвали в кабинет президента. У входа в приемную было несколько сотрудников охраны — гораздо больше обычного, потому что среди них были люди Ельцина. Один из них попросил меня предъявить документ, но кто-то из наших «прикрепленных» махнул рукой: — Пропусти. Дежурный секретарь сказал мне, что через несколько минут Горбачев будет говорить по телефону с Джоном Мейджором, но сейчас он в Ореховой комнате с Ельциным и Яковлевым. Начали в двенадцать часов, добавил он. Пока я ждал в приемной, официанты внесли в комнату закуски. Наконец, вышел Горбачев, и мы пошли в его кабинет. Я понял, что три собеседника не только закусывали, но в разговоре с Мейджором это, конечно, никак не сказалось. Я вообще никогда не видел его пьяным. Горбачев сказал Мейджору, что «через один-два дня» сделает заявление об уходе с поста президента. — Сейчас мы с Ельциным и Яковлевым обсуждаем переходный период, — отметил он. — Мы понимаем свою ответственность: нельзя допустить, чтобы все, что сделано за последние годы в стране и в мире, было потеряно. Пока еще это одна страна. Политически ее делят, но рвать ее еще больше нельзя. Все будет зависеть от того, как пойдут реформы в России. И главное сейчас — давайте все поможем Ельцину. Россия будет на острие реформ, ей будет труднее всего. Поэтому еще раз: надо помочь Ельцину. Мейджор отвечал в своей обычной манере — очень доброжелательно, но несколько официально. И все же я слышал, что иногда его голос слегка дрожал. Наверное, каждый, с кем тогда разговаривал Горбачев, чувствовал, что в эти дни происходит нечто историческое. В конце разговора Мейджор сказал:

— Я уверен, что это не последний наш разговор. Когда все уляжется, мы будем рады увидеть вас в Лондоне.

По Москве уже ходили слухи, что Михаил Сергеевич скоро уедет, опасаясь преследований. Но для Горбачева подобное было немыслимо. На аналогичные приглашения Малруни, Буша и других он отвечал:

— Буду рад приехать в гости. Но мое место здесь, в России. Все будет решаться здесь. Оставалось немного. Выступление по телевидению в девять вечера было коротким и сильным. Горбачев уходил с поднятой головой. Не знаю, что не понравилось в этой речи Ельцину, но после нее он опять закапризничал. Накануне они договорились, что передача ядерного контроля произойдет в кабинете Горбачева сразу после его выступления. Однако этого не произошло: Ельцин отказался прийти. Через несколько минут после выступления Михаила Сергеевича телевизионщиков попросили покинуть кабинет. К Горбачеву вошел маршал Шапошников... и через несколько минут вышел с небольшим чемоданчиком типа атташе-кейс. Маршала сопровождали два офицера-оператора в гражданском. Их лица были мне знакомы — они всегда летели в «первом самолете» во время визитов за рубеж. Один из них подошел ко мне несколько лет спустя на Новодевичьем кладбище после похорон Раисы Максимовны. В кабинете остались немногие. Горбачев прощался. Я смотрел на лица тех, кого хорошо узнал за прошедшие годы. Тут были Черняев и Шахназаров, которые до конца своих дней будут работать в Горбачев-Фонде, Андрей Грачев, у которого были другие планы, шеф протокола Владимир Шевченко¹⁷, который потом занимал ту же должность у Ельцина. Разные люди, разные судьбы. Наверное, кто-то в это время так же смотрел на меня, пытаясь угадать, где я буду через две недели, через два года... Через две недели я получил в кадровой службе администрации президента России свою трудовую книжку. Вспомнил с улыбкой, как волновалась мама: «А где теперь будет лежать твоя трудовая книжка?» Она до сих пор лежит в Горбачев-Фонде. Предпоследняя запись в ней такая: «Освобожден от работы в связи с упразднением (ликвидацией) со 2 января 1992 года аппарата президента СССР». Подпись, неразборчиво, и печать.

